

Друзья зовут его Личутна. В этом имени и лучина, и шутка, и чудо, и виден он весь: с лукавым и зорким синим глазом.

Онающий говорон, звонкий, пронзительный голос, чудится, вот-вот сорвется на поморские причитания.

Проза Личутина стройна, загадочна и чарующа, будто заговор (неслучайно одна из его повестей называется «Последний колдун»). Порой теряешь нити смысла, но всё хитросплетение подчинено какой-то тайной цели, как и вязание донного невода с затягиванием сложных узлов уже обещает плеск и трепет пойманных жизнью...

«Сначала под сугробами заточились ручьи, хлопотливо завозились, как цыплани под наседною, но в какую-то неделю слизнули с тундры студень смертные покровы, и вода-снежница, что не нашла ходу в Печору, скоро скопилась в низинах, в логах под веретьями, в мерзлых болотинах и чахлых воргах, разлилась в широкие, рябые под ветром прыски...»

Не всё понятно, но всё зримо до одури, щекочет весенний ветерок. Иногда думаешь, а уж не подтрунивает ли он над читающим, так близко собрав причудливые словечки, да и не разыгрывает ли? Все ли эти слова в самом деле существуют?

Почти невозможно поймать его на неточности, но личутинское обращение к корневой лексике — это не работа филолога, окруженного надгробиями словарей, а вдохновенное волхвование. Он воскрешает даленых предков с их удивительной узорчатой речью, он отдается на волю поэтической стихии народной души и, воспламенившись, в одно касание делает очередную мертвую окаменелость жарной и сладкой. Отсюда и всегдашнее обитание в его прозе лиц и судеб самых разных поколений, какую вещь ни возьми — «Белая горница», «Душа горит», «Дивись-гора», «Вдова Нюра», «Любостай», «Душа неизъяснимая», «Раскол»...

Не всё понятно, но всё зримо до одури, щекочет весенний ветерок. Иногда думаешь, а уж не подтрунивает ли он над читающим, так близко собрав причудливые словечки, да и не разыгрывает ли? Все ли эти слова в самом деле существуют?

Скрытный, как всякий чужаков, он лишь осознает, что северное красноречие осело в нем, «как ил на дно рени». Судя по всему, взбалтывает себя, выворачивает донное богатство, уходит в маревое полужабытье, и тогда на страницы хлещут и льются таинственные райские глаголы.

Личутин пишет не предложениями — отдельными словами, которые звонко лобызаются, христосуются друг с дружкой, как пасхальные богомольцы в огромном храме.

Это не просто возвращение благозвучных, мало кому знакомых слов, обычно сопровождаемых сухим довеском «устар.», не просто непрерывная манифестация архаики. Личутин — литературный новатор, в чьих писаниях — претензия на революцию стиля. Одним словом он дает второе рождение, другие вынашивает, рождает и вскармливает самолично. Точно «речетворец»-будетлянин, для которого неизведанное грядущее смыкается с диновинным прошлым, он свободно и смело играет языковой гуцей.

К этой прозе можно было бы присобачить химическую фразу «суперэстетизм», но и определение «любование красотой» излишне. Личутин не наблюдатель, он, пожалуй, и не любит, он даже отказывается оценивать, что есть красота, он стремится, не рассуждая, слиться с природой во всей ее естественной полноте. Природа — главная героиня всех его книг — отстраняет и делает неважными мысли, характеры, сюжеты, потому что и люди-простецы, крестьяне, рыбаки, охотники, и их скромный честный быт — продолжение природы.

«Только на Севере метафор снега около ста двадцати!» — воскликнул писатель в нашей беседе. Однако метафоры ли это в привычном понимании?

Он — переводчик с природного на русский. Музыка, которую он, как сказал мне, однажды уловил и ловит с той поры, есть музыка природы, где сквозит мнимую нарочитость и даже вычурность («еста», «скорнать», «шолнуша») доносится шорох волн, криканье уток, безмолвные плачи рыб...

Много ли личутинских страниц отведаешь за один присест? Ну, кто как. Книжки не для всех. Снажу за себя: выпитываю эти речные и луговые, и лесные, и беломорские пейзажи, как будто вижу их живую, и не всякое понимая слово, чувствую сердцем — «синют гривы дальних

суземков», «носо парусит мрелое солнце», «зыбятся отроги сугробов» — и, сам не замечая, всматриваюсь снова и снова в один и тот же абзац, в нем растворяясь.

Помню его в храме, притихшего и неспешного, затеплившего свечу, которую он, попадая в ритм протяжного хорового пения, мягко ввинчивал в гнездённо латунного подсвечника подле старинной иконы Николы Угодника.

Помню его ярым и диким. В каком-то писательском застолье кто-то затеял водочную драку. Первым бросился разнимать Личутин, ловкий, юркий, неожиданно сильный. Взорвалась стеклянная дверь, а он стоял, мал да удал, разметавший всех по углам, и хохотал из золотисто-рыжей бороды, с ногами, посеченными осколками, в окровавленных штанах.

Помню его среди голубоватых сугробов, на солнечной опушке, глядящего нежно в небо, с шерстяной шапкой в руке, внутри которой спряталась тайна — может, найденный зимний гриб, а может, подаренная лесом сто двадцать первая метафора снега.

